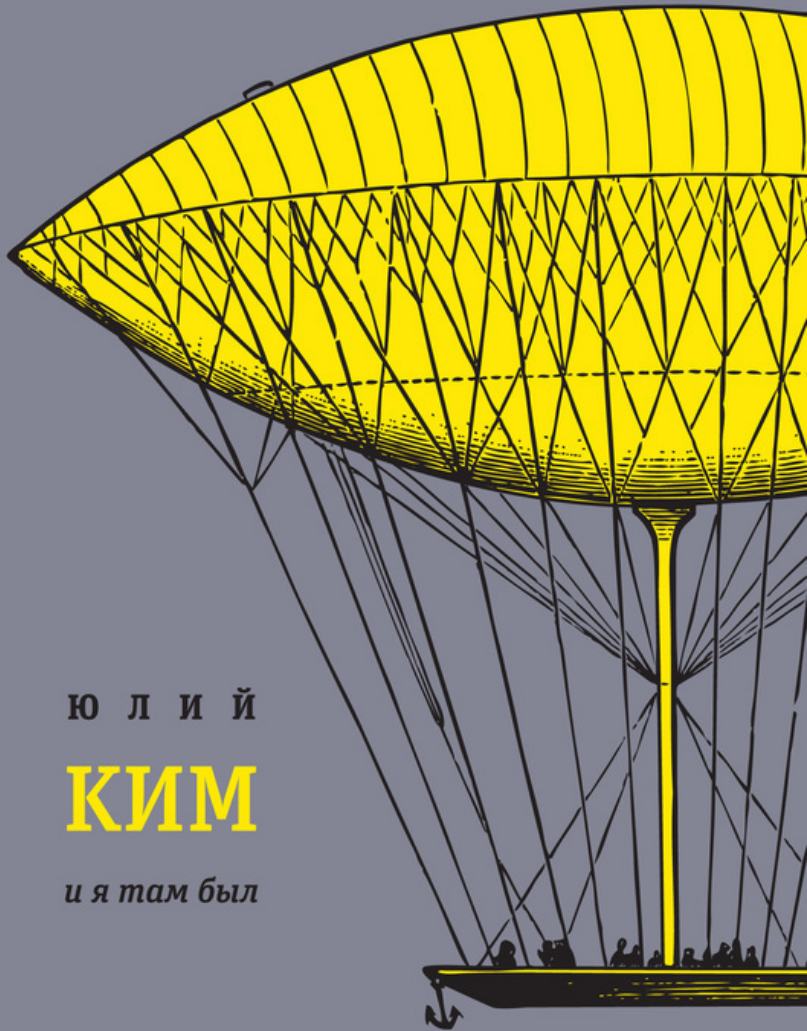


Ю Л И Й

КИМ

и я там был



Юлий Ким

И я там был

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18911142

И я там был: Время; Москва; 2016

ISBN 978-5-9691-1486-9

Аннотация

Удостоившись в 2015 году Российской национальной премии «Поэт», Юлий Ким вспомнил о прозе – и подготовил для издательства «Время» очередную книгу своей авторской серии. Четыре предыдущие томика – «Моя матушка Россия» (2003), «Однажды Михайлов» (2004), «Стихи и песни» (2007), «Светло, синё, разнообразно» (2013) – представили его как иронического барда, лирического поэта, сценариста, драматурга... И вот теперь художественная проза, смешанная, как это всегда и бывает у Кима, с воспоминаниями о родных его сердцу местах и близких людях. Родных мест у него теперь три («так построились мои звезды») – Москва, Камчатка, Израиль. А близких людей не счесть. В этой книге лишь малый их круг, так что будем ждать следующей.

Содержание

От автора	5
Камчатка	6
Впервые в тундре	6
Пеца Кузин	16
Ночная погоня	32
День рождения	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Юлий Ким

И я там был

© Юлий Ким, 2016

© Валерий Калныньш, оформление и макет, 2016

© «Время», 2016

От автора

За последние полвека моей жизни я на Камчатке был восемь раз, из них два раза жил, остальные наезжал. Первый раз длился три года; после института я, согласно контракту, учительствовал в Ильпырской школе при Анапкинском рыбокомбинате. Та еще глушь – но она до того мне понравилась, что я, вернувшись в Москву, через некоторое время опять туда поехал – правда, лишь на полгода. Этого хватило, чтобы успокоить мою чуть ли не болезненную тоску по Ильпырию. Именно успокоить, а не прекратить – то есть превратить тоску в ровную, спокойную пожизненную тягу, вытягивающую меня на камчатские берега приблизительно раз в девять лет. Так что известное правило «никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы» – не для меня.

А в последние четверть века моей жизни я то и дело наезжаю в Израиль и подолгу там живу. Так построились мои звезды, что эта земля тоже стала мне родной, и тамошние проблемы волнуют меня не меньше, чем тутошние.

И в камчатской моей прозе, и в израильской чувствуется обязательный привкус *места*. А вот в разделе «МОСКВА» такого привкуса вы не обнаружите. Зато там слышится особенный призыв наших 60—80-х годов, с их надеждами, разочарованиями и протестами.

И еще там есть небольшая галерея особо любимых лиц.

Камчатка

Впервые в тундре

Свобода и необходимость, как известно, нерасторжимо связаны между собой. Например: чем определеннее необходимость, тем свободнее тебе жить. Или еще: никогда так не желаешь какой-нибудь необходимости, как в условиях полной свободы.

Пока Шурик Акимов работал зиму и весну в школе, то есть действовал по обязанности, он в сущности жил свободно и непринужденно. Время было вечно занято, и какие-нибудь вынужденные пустые час-два объявлялись так внезапно, что все эти час-два он изнывал. В столовой он нельзя сказать ел, обедал, поглощал, уписывал – он истреблял еду в секунду; а между тем считал себя любителем, что называется, хорошо поесть.

Но чем ближе отпускное лето, тем настырнее кажется работа, и даже то, что делалось охотно и бескорыстно, как будто бы начинает отдавать металлическим привкусом долга и обязанности. Тем нетерпеливее хочется отделаться от «все-го-всего».

И вот, уже в мае чувствуя магнит июля, Шурик принялся освобождаться от необходимостей, служебных должков,

спешно завершать программу, от которой вечно отставал, – завершил; доделывать общешкольный вечер – доделал, провел; в июне – еще быстрее, торопливее – заполнил журналы, принял экзамены – что еще? Дописал методический доклад, доложил; дотянул до выпускного вечера, прошел и вечер, с песнями и разрешенным вином, прошел, и – и...

И Шурик неожиданно очутился перед безмятежностью абсолютной свободы; перед долгожданным и достигнутым независимым одиночеством.

Ничего не надо было делать.

Стал писать письма – в полдня разделался с ними. Пробовал читать, пробовал сочинять что-нибудь – все валилось из рук. Он понимал, что все это не то, что всем этим можно было заниматься и раньше, что у летнего времени должен быть свой собственный аромат, и это время течет сквозь пальцы.

Приходил в столовую, набирал кучу еды, сидел перед ней тупо и уходил, половину оставив на тарелках.

Приходил полежать к морю. Берингово море переливалось, просвечивало, млело и сверкало под солнцем и само по себе источало жару и пресыщенность жизнью. Беленькие краешки волн, журча, пробегали около ботинок. Посмотрев, уходил.

Навещал знакомых; или не навещал знакомых. Листал журналы; или не листал. Включал или выключал радио – черт-те что, невесомость, прострация.

Шурик томился. Поселок жил без него: люди ходили на

работу, с ним здоровались, останавливались, разговаривали, а все равно он был ни при чем. Его комната, неубранная и грязная, весь его разваливающийся барак, широкая пыльная улица, раздавленная колесами, школа, клуб, даже море, даже небо и по горизонту привычный рисунок сопки – все это были использованные вещи, которые некуда деть. Как на вокзале: уже попрощался с провожающими, со всеми обнялся, уже сказал все сердечные прощальные слова – а поезд, оказывается, отменили.

Линия сопки по горизонту была все та же, с теми же неровностями и так же скучна и определена.

Поэтому мысль взойти на эти сопки с рюкзаком и ружьем и пожить там была до того оглушительно проста, что Шурику стало стыдно.

«У меня аж ноги гудят от счастья, – писал он домой. – Уже завербовано восемь гавриков из девятого класса, хоть неизвестно, зачем я это делаю, надоели же. Смех! Они еще ни разу там не были. Прожили здесь тысячу лет, излазили всю тундру, доходили до подножий – и ни разу не подняться. Можно это понять? Мне – непонятно».

Он разговаривал с местным охотником.

– Вы на сопках бывали?

– Чего я там не видел?

– Вот, думаю ребятишек туда сводить.

– Валяй-валяй, сейчас в тундре комары голодные.

– Все-таки, думаю, не мешает хоть раз взобраться, по-

смотреть, что там за ними.

– А что там смотреть? Тундра и тундра, все.

Он снаряжался. Брошенные, запыленные вещи исполнились смысла. Фотоаппарат был куплен прошлым летом, вышло несколько пленок, после чего, по истечении фотоазарта, предмет повис на гвоздике пылиться. Ружье было куплено еще раньше. Шурик его любил, время от времени вытирал тряпкой, щелкал курками и, зверски скосившись, целился по стенкам, а на охоту так и не сходил.

Теперь он чистил, и драил, и смазывал, и пачкался в масле, и втискивал шомпол в округлые холодные стволы, поворачивал его, вытягивал и любовался на свет зеркальными сдвоенными каналцами.

Теперь он рубил пыжи, насыпал мерками порох, дробь, картечь, пыжевал, протягивал раздутые гильзы, набивал капсуля... Шестнадцатый калибр... Нулевка... тулка... – ф-ф, приятно!

Все же это была игра, предвкушение. Он мило важничал, но иногда подумывал: будет ли хорошо? И потом – пацаны, ответственность, запахло м-е-р-о-п-р-и-я-т-и-е-м. Но когда они маленьким отрядом с торчащими ружьями вышли за поселок, в тундру, Шурик счастливо задышал и расправился весь, словно раньше дома и улицы стесняли в плечах. И он, оживленно озираясь, радостно видел себя: невысок, суховат, вовсе не мямля, напротив, ладненький паренек, в кепке набекрень, в штормовке, тельник полосками отчеркивает шею,

пригнанные резиновые сапоги так и подхватывают тело снизу, на спине плотный, компактный рюкзак, на нем четыре кармашка, прочные ремешки и металлические пряжки и застежки.

А через два часа сопки казались по-прежнему недостижимыми близкими, поселок же давно скрылся за склоном берега, кругом – тундра, болотца, полуболотца, высохшие болотца, и самое надежное место, где не вязнешь, мягко, как диван, – попробуй пройди полдня по одним диванам. Было жарко, и комары, комары. Прозрачное зудящее облачко все время висит перед глазами, мазь, смешанная с потом, течет по лицу, и комарье вцепляется в виски, в переносицу, в шею под шарф. Шурик шел теперь в зимней надвинутой на нос ушанке, наглухо завязанной под подбородком, шея закутана в шарф, рукава тельняшки распущены и наверху пальцами на кулаки. Он шагал, бессознательно обходя топкие и выбирая надежные места. Сопки уже не были голубой мечтой, они стали безразличной, но навязчивой, неоспоримой целью, куда непременно надо дошагать этим мертвым, тяжелым шагом. Вокруг была летняя бархатная тундра с сияющими синими полосами озер, но она была и не проникала в сознание. Временами Шурик оглядывал ее, но не испытывал ничего, кроме непрекращающихся мерзких укусов в висок и шею.

– Александр Петрович, стойте, я вас сниму.

– Успеется.

– Вид у вас геройский.

– У тебя не геройский.

– Ох и комаров на вашем рюкзаке!

– На твоём мало.

Зеленая поляна, видимо, твердо, вперед! – и тут же нелепыми, судорожными прыжками возвращаешься: болото. Другую такую поляну обходишь далеко сбоку, а соседний пацан идет по ней, как Иисус по воде: болото высохло.

Вот место как будто ровное – и попадаешь в царство больших травянистых кочек, напоминающих высокие парики, идешь и балансируешь по их податливым затылкам.

Шурик все же чувствовал, что его автоматическое шагание неуклонно отодвигает за спину, туда, к поселку, километр, и еще километр, и еще. Потому что от ранее непрерывной линии сопков стали отделяться ближние и дальние вершины, общий голубоватый тон расплылся в зеленые пятна кустарников, в серые потоки каменных осыпей, обозначились ущелья...

Можно завести разговор, но через две-три фразы он опротивеет, как жвачка.

Легче идти, намечая маленькие цели: вот дойду до той кочки; дошел. Теперь до того кустика. Теперь до той кочки.

Временами имеет смысл оглядываться на пройденный путь: я был возле того куста, а его уж и не видно.

Или считать шаги, но так и вовсе отупеешь.

– Александр Петрович, полпути ведь мы прошли, да?

– Как же, как же. Осталось еще полпути, потом еще пол-

пути, а там совсем немножко.

– А сколько мы уже идем?

– У меня часы встали.

Приближается поперек пути широкая зеленая река кустарников. Кусты сцепились кривыми пальцами, скрюченными локтями в одну непроходимую массу и по уши заросли высокой летней травой. Сняв, чтоб не цеплялось, ружье, сгорбившись, вкатываешься ежом в колючую душную непролазность, медленно-медленно протрясаешься сквозь нее – и комары, комары...

У подножья хватило сил поджечь на поляне пышный остров кедрача и рухнуть в хвойную удушливую струю потянувшегося дыма. Комары отстали. Рядом падали подходившие спутники.

Шурик лежал и вяло думал, что вот он – учитель, что следовало бы не показывать усталости и готовить ночлег, что вон Колька или там Юрка уже возьмется с костром, а он лежит. Ну ничего, еще минутку-другую, ничего, ничего...

Отлежавшись, он встал, сбросил рюкзак и с тем же молчаливым отупением полез через кусты подножья вверх. Кедрач на склонах стелется книзу, по его гладким иглам легче спускаться, чем подниматься навстречу им. Крючковатые стволы перепутались, сучья с мгновенным треском обрывались под ногами. Шурик двигался рывками через кусты и все вверх; кусты кончились, стало круче; сильно задул ветер. Начались камни, теперь они одни до самой вершины. Близкая, ост-

рая, она начиналась перед самым носом, впиваясь в вечернее небо и закрывая от глаз неизвестную страну – осталось несколько минут ходу до верха.

Шурик упорно смотрел только под ноги и вверх, стараясь задержать в себе то чувство механического передвижения, какое было внизу, в тундре. Но, как трудно задерживать вдох, так и ему все больше хотелось обернуться: он всей спиной ощущал страшные просторы позади себя, и они, с каждым рывком наверх становясь огромнее, словно докидывали его на вершину. Одно только сердце гремело по всему телу, он часто приостанавливался, но подниматься все же было легко из-за этой мощной поддержки открывающихся позади пространств. Камни иногда выскальзывали из-под рук или ног и долго кувыркались вниз, но Шура смотрел только перед собой и вверх.

Вдруг ветер ударил по щекам, и глаза словно заполнили все лицо.

Он обернулся и все увидел.

Вон – поселок, цепочка домиков у моря, и вот весь их путь по тундре – ничтожно короткий! Поселок так близок, что можно различить и узнать некоторые домики. На рейде пароход – беленький, отчетливый в закатном свете, – и к нему так же незаметно, как идет часовая стрелка, движется катер и тянет за собой щепочку – баржу.

Недалеко от берега – остров (из поселка видны лишь его вершины). А за островом – настоящий распахнувшийся в

полземли океан, и из него в двух местах высовываются еще острова, один маленький, а другой, оказывается, огромный, теряющийся вдалеке.

И еще глаза находят два поселка и много мысов и заливов, о которых дома говорят: иду в такой-то залив, на такую-то базу – вот они, и залив, и база, вот они, черт побери!

В другой стороне мира, по ту сторону вершины лежала тундра, только тундра, текли неизвестные речки, расходились неровные цепи совсем незнакомых сопок с извилистыми ущельями и долинами.

Медленные цветные облака ровной крышей висели над Шуриком, и он смотрел из-под них, как из-под козырька, а облака, и землю, и океан освещало закатное солнце, опускающееся к горизонту, и это было захватывающе красиво. Океан ближе к солнцу был розовый, к востоку становился нежно-сиреневый и, наконец, густо-фиолетовый. Одновременно видны были и накатывающаяся на землю ночь, и нежгучее, мягкое солнце, едва просвечивающее сквозь голубые тающие скалы.

Ветер дул ровно и сильно, но Шурик не мерз и не думал о нем. Он знал, что продрогнет и спустится к ребятам, к костру, где будет какое-либо варево, но в общем-то и об этом он не думал.

Приятно было видеть поселок, такой крохотный в бесчисленных километрах вселенной, и при этом испытывать такое добродушное превосходство.

Приятно было смотреть на пройденную дорогу и думать, что придется опять возвращаться по ней.

Приятно было видеть далекий неподвижный катер и знать, что он все-таки движется.

Сознавать, что когда они вернутся в поселок, то, потолкавшись день-другой, можно опять куда-нибудь уйти.

Сознавать, что у него есть свое прошлое и свое будущее, и что он никому не завидует, и что ему не должен завидовать никто.

Что он имеет право одобрительно думать обо всех людях и необязательно требовать от них себе того же.

Что если кто-нибудь смотрит сейчас из поселка сюда, то эта неуклюжая огромная сопка кажется изящно отточенной и туманно-синей, а Шурика и не видно совсем.

Приятно было понимать, что люди, живущие в поселке, не то еще видели и переживали, о чем ему и не снилось, что он просто москвич, впервые вышедший в тундру и сопки, — ну что ж, и это приятно.

И даже знать, что вот это достигнутое видение и понимание всего, так наполняющее сердце, потом исчезнет — но не забудется и, так или иначе, повторится.

Пеца Кузин

Мы с Пецей вначале отлично подружились. Я тогда развешивал уши, а Пеца разливался соловьем, ибо любил потрепаться больше других.

«Вот, – думал я, – это жизнь настоящая. Что по сравнению с ней наши книжные представления?»

«Это человек, – умилялся в свою очередь Пеца. – С нашими лопухами разве о чем поговоришь?»

«Конечно, он по молодости прибреживает, – догадывался я. – Но все равно, не с ним, так с кем-нибудь это случилось же».

«Ему подзалить не грех, – мысленно соглашался Пеца. – Малый интеллигент, только что с материка, ничего такого не слышал».

– ...Ну, врубаю я полный вперед, и ждем мы к пирсу, на буксире у нас плашкоут с пассажирами. Хотели, знаешь, так, с форсом подойти, а кэп косой, с похмелья великого – и не рассчитал, а про плашкоут вообще забыл. А я что? Я в машине, ни хрена не видно. Только слышу – дрын-дрын – кэп сигналил: полный назад! Я врубил – все равно не успели: сходу в пирс ка-ак врежемся! Я с катушек, а плашкоут на буксире, у него же машины нет, тормозить нечем – он за нами как шел, так в пирс – шарах! Ну – что там было! Пассажиры кто как стоял, так и полетели, а один дяхарь не удержался

и за борт – в куфайке, в брючках, в свитре новом. Плывет, понял, а матерится на весь комбинат, кэпу – салажонок, кричит, долбаный! Н-ну, мы умерли, как он плыл!

Таких рассказов, и не только от него, я выслушал множество. Вообще говоря, лихо я начинал на Камчатке свою трудовую жизнь после института. По выходным – обязательно, а нередко и по будням в моем бараке под названием «Дом молодых специалистов», в моей холостой замызганной комнате сходилась человек пять-шесть из местных мотористов либо матросов. На двух табуретках, застеленных газетами, воздвигалась бутылка спирту, размещались консервы, хлеб и, конечно, она, тихоокеанская селедочка, пленяющая нежностью и полнотой. Начиналось распитие и безудержная травля: молодые морячки травили азартно, тем более при свежем человеке, и орали на весь барак; взрослые травили солидно, негромко, тщательно упоминая подробности; а в общем, и те и другие травили одинаково.

После двенадцати станция выключала свет, и я зажигал белые толстые свечи. В комнате табачный туман, щеки и голова горячие, перед глазами плывут тельняшки, раздаётся грубая, морская, она же соленая, речь – ну и прочее пиратство. Пеца, надо сказать, и правда, походил на пирата. А так как и я не красавец собой, то мы с ним часто прохаживались насчет взаимной внешности.

– Саня, – бывало, говорю я Сане, мотористу, нашему общему другу, – знаешь, как природа Пецу создавала?

Пеца уже ухмыляется.

– Берет природа дубовый пень, обрубаёт его топором кой-как, дай, думает, выпью. Выпивает она рюмашку, смотрит на пень: чего с ним возиться? И пихнула его ногой на Камчатку.

Пеца говорит:

– Ты про нос, про нос расскажи.

– Ну как же! Вспоминает природа про нос: ах ты, батюшки, забыла! А готового-то носа у нее и нет. Ну, снимает она с себя ботинок разношенный – и пошел Петр Федорович с ботинком вместо носа, как Лев Толстой.

– Слышь, Сань, – излагает Пеца свой вариант, – а природа знаешь как Алексеича делала? Ну, ложит глину, лепит глаза, рот, все это, нос, чин-чинарем. А потом забыла и села на него. И вышел Ксеич.

Вот в один из описанных вечеров мы с Пецей и познакомились. Представлялся он с достоинством прямо джентльменским: «Петр, – сказал он, пожав мне слабо руку. – Можно Петя». Присел на край койки, облокотился значительно о колено, но помалкивал недолго, и в тот же вечер началась наша дружба.

* * *

На работе мне время от времени говорили:

– Ну что вы, Евгений Алексеевич, связались с этой компанией, с Кузиным? Человек вы как будто умный, а ведь это

же молокососы, пьяницы, драчуны. Кузин уже сидел в КПЗ за драку, вы знаете об этом?

– Разумеется, – отвечал я солидно, – но ведь кому-то надо же с ними заниматься? Мы довольно часто беседуем – и на исторические темы, и на художественные...

Вспоминаю один такой «художественный» разговор. Они с Саней пришли из клуба, «с картины». Ну, поболтали, посидели, вижу, Пеца какой-то загадочный, многозначительный. Явно хочет чем-то удивить.

– Алексеич, – наконец сообщает он, – а я роман сочинил.

– Да ну! – удивляемся мы с Саней. – Дай почитать.

– Да он у меня в уме.

– Ну расскажи.

– Смеяться будешь.

– Как хоть называется?

– «Черный ужас».

– Ух ты!

– Смеешься?

– Да рассказывай, не томи.

– В общем так. Жил один пацан, ну, бедный, сирота. Родители умерли – он еще маленьким был. Ну, копеек нет, жрать надо, а жил он под мостом, в общем хреново. Туда-сюда, и попал он в одну шайку, начинает воровать. И накрывает их полиция. Но он убегает. За ним менты гонятся, овчарки – а он раз, и зашуровал в лес. Ходит там суток пять, жрать охота, и вдруг видит – хата. Он заходит, а там сидит один старик,

белый-белый, сидит, держит нитку и смотрит на свечку. Ну и он объясняет пацану этому, что если держать так нитку и смотреть на свечку, то через год будет шкура. Причем смотреть и не моргать.

– Что будет?

– Ну шкура, кожа такая человеческая. В ней дырки – только где глаза и хавальник, а так – ее ни пуля, ни нож, ничего не берет, если надеть. Ну, старик умирает, пацан этот набирает консерв, жратвы и садится. Проходит год – шкура готова. Он ее надевает и идет в город. Заходит в магазин, прибрахлился, заделался джентльменом – в общем все в норме.

И вот по городу пошел ужас: как ночь – так кража. Его хотят застукать, а он и не скрывается. Идет, понял, в черной маске, в черном костюме, открыто. Они стреляют – а ему хоть бы хрен: идет, понял, и улыбается. А на груди у него, это еще когда он костюм шил, светящимися буквами надпись: «ЧЕРНЫЙ – УЖАС»!

Не меньше часа шла эта вдохновенная импровизация, причем Пеца от души переживал каждое приключение своего неуязвимого героя. Саня сидел, слушал, на меня поглядывал: тоже, мол, и мы не лыком...

– Ну-ну, – говорили мне на работе. – Это, конечно, ваше дело. Только смотрите, как бы Петька вам в глаз не заехал.

Ибо скандалист был Пеца на весь поселок. Не по натуре скандалист, а по зеленому пьянству. Пил он много и плохо, быстро пьянел и становился задирист и глуп. Драться он

дрался не больше других, но шуметь шумел, это точно. А поселок наш небольшой и на отшибе, все мелкие происшествия превращаются в большие события. И Пеца только и попадал из одного события в другое.

Вот в ноябре, когда разгружали последние в навигацию пароходы, сгрузили тонн двадцать портвейна – к общей радости, а то все спирт да спирт. Ну и вечером, конечно, приходят Пеца и Саня-моторист, с портвейном, темные такие бутылки, по ноль-восемь, «огнетушители». Разогрелись, закусили и стали играть. У меня висела громадная политическая карта мира – кто быстрее отыщет загаданное место.

– Укажите-ка мне, государь мой Петр Федорович, – говорю я, – Абиджан.

Саня подсказывает:

– В Азии ищи.

– Замучаешься искать, – отвечает Пеца. – Он, наверное, в Африке.

Но при этом старательно ползает по Азии.

– Что ж, государь мой, – говорю я через пять минут, – ваше время истекло. Давай, Петенька, под кровать, спой нам что-нибудь.

– А где Абиджан?

Я показал. Пеца моментально взелся:

– А я что говорил? «В Азии, в Азии», – пускай Санечка лезет под кровать, не будет под руку, сука, подсказывать.

– Тебя никто слушать не просил.

- Лезь, Санечка, лезь.
- Замучаешься ждать!
- Лезь, Саня, до трех считаю. Раз!
- Замучаешься считать!
- Два!.. Три!

Пеца кидается на Саню, и начинается дикая свалка. Бах! – ведро пустое загремело. Бах! – книги со стола, а битюгов таких разве разведешь? Уже у Сани слива под глазом, на Пеце рукав распушен, кричат на полу, идиоты. Наконец слышу:

- Ну что? Все? На лопатках?
- Нет!
- Где ж не на лопатках, когда на лопатках!
- Нет!
- Алексеич, скажи!
- Вставайте, хулиганье чертово, идиоты, дураки! Вы знаете, что мне завтра будет?!
- Ладно, Ксеич, не разоряйся, – с победным великодушием поднимается Пеца. – Вставай, ты, Азия долбаная!

* * *

Соседи наябедничали моему начальству, и я должен был покаяться и поклясться. И действительно, потом долго ничего такого не было – впрочем, по особой причине: Пеца влюбился. И влюбился, конечно, не по-людски, а в замужнюю даму, лет на десять старше него и счастливую в браке.

Тогда уже, к Новому году, вернулись в поселок все, кто работал на других базах, в том числе многие Петькины дружки и подружки. Самое время для Пецы развернуться в дружеских попойках да на девичьих игрищах. Он же – пожалуйста тебе – влюбился!

А мы тогда местными силами ставили к празднику чеховского «Медведя». Пеца вызвался представлять самого Смирнова, за режиссера был я, а Попову играла как раз та дама, врачиха, Нина Ивановна. Миловидная, общительная и смешливая дама.

В то время я у Пецы ночевал, после репетиций приходили, накормливал он меня борщом до беспамятства, а потом уже, на ночь глядя, растянувшись на койке, Пеца пускался рассуждать.

– Вот черт, Алексеич, ты скажи, а? Ведь сколько девочек было, молоденьких, что ты, все на месте, ножки – н-ца! Не поверишь. Ну вот Надюху мою, ты знаешь, вот ее, например. Девочка что надо, шик-мода. Или Зинка, ну ты не знаешь, в Тиличихах. В общем, как Смирнов, понял? «Двенадцать женщин бросил я, девять бросили меня», точно.

Я слушал Пецу уважительно.

– Она, понимаешь, как ребенок. Смотри: и муж у нее, и две пацанки как-никак, и вообще она врач – а краснеет, как школьница, что ты! Я, по пьесе, подхожу ее сегодня обнимать, ну, ты видел, а она вся красная, смеется, ручками машет – ну умрешь! А я тоже – подхожу, а сам думаю: хоть бы

Алексейч скорее кончал это дело! Ну с чего, скажи, с чего? Я ж их пачками обнимал, безо всякого!

– То-то я гляжу, ты сегодня уж такой бордовенький...

– Я?! Да ладно, «бордовенький»! А что, заметно, да? Вот черт! И ведь старуха же, морщины запудривает, да что говорить! И вот надо же... аж слова позабываю.

Слова, между прочим, он и не помнил никогда, будучи самонадеянным хвастуном. Так что на репетициях и прогонах и мне, и Нине Ивановне приходилось из кожи лезть, чтоб хоть как-то сошло. Он, конечно, дернул перед спектаклем стопочку для храбрости, но волноваться начал еще когда я его загримировывал.

По пьесе, в финале Смирнов ломает стул. Мы нашли в клубе один сломанный, разобрали и опять составили, чтоб еле держался. Ну и Пеца, как вышел на сцену, так после первых же реплик и направился к стулу и со словами «Черт, какая у вас ломкая мебель» разнес его единым духом в куски. Зал смеется, а я думаю: «Что же он в конце-то ломать будет?» Гляжу, он садится на корточками спиной к залу и начинает стул чинить и все дальнейшие реплики произносит, обращаясь к заднику. Потом он начал ходить взад-вперед по сцене, разрушив все мои гениально задуманные мизансцены, ходил-ходил – и опять уселся на злополучный стул, свалившись в обломках. Зал хохочет, думает, все так и надо. Починил он стул во второй раз, а в конце с такой подлинной злобой шархнул его об пол, что потом и чинить-то уж нечего

было.

Финальную сцену взмокший Пеца провел мигом. Еще Нина Ивановна Попова, размахивая пустой ракетницей, зовет его к барьеру, а он уже подходил к ней, расставя руки, с мертвым лицом, весь пунцовый, как вечерняя заря. Она, чтобы договорить слова, отступает перед ним, а он таким образом загоняет ее в кулисы, так что гвоздь спектакля – поцелуй – видели только из первого ряда.

А Нина Ивановна тогда была и правда хороша: розовая, смеется – льстила ей все-таки Петькина любовь, как же.

* * *

Между тем поселок наш заперся до весны – зимовать. Весной пойдут пароходы, начнется путина, кто уедет, кто приедет, а пока – флот вытащен на берег, участки завалены снегом, все в сборе.

Спектаклей мы больше не ставили, любовь у Пецы прошла. Дружки его коротали зимние вечера при звоне стакана, и Пеца не замедлил к ним присоединиться.

А мне окончательно уже надоели и морские рассказы, и сопровождающее их пьянство. Пеца это почувствовал, оскорбился и стал особенно настырен. Я обозлился и попросил его пить где-нибудь в другом месте. «Тэ-эк, – сказал Пеца, – значит, горшок об горшок и кто дальше? Ладно». И с тех пор не заявлялся, а на улице только холодно кивал.

Ну и пошло: на 23 февраля, на 8 марта и просто по выходным Пеца регулярно оскандаливался. На электростации, где он работал дизелистом, за него особо не держались, и над ним нависла угроза перевода на промработу – снег резать, чаны чистить и тому подобная каторга для проштрафившихся. Пецу отчасти удерживала Надюха его, но только отчасти. Как он оскандаливался? Ну, как люди оскандаливаются? Драка в клубе, мат на танцах, пьянка в рабочее время – что об этом рассказывать...

Кое-как дотянул Пеца до первых пароходов и пошел в бригаду грузчиков, ходить «под маркой». Маркой называется одно место груза. Бывает, весит она килограммов восемьдесят. Особенно трудно таскать стекло: и неудобно, и неподъемно, а носить надо бережно. И законы у грузчиков жесткие: не доходил смену, выдохся – уходи из бригады. Пеца здоровый малый, но без привычки выматывался дико, ну и пить стал пореже.

Вот раз ночью, в апреле, я уже спать лег, слышу – стучат. Потом кто-то входит, я не запирался никогда, осторожно трясет за плечо: «Алексеич, спишь?». Пеца. «Чего тебе?» – «Айда купаться». – «Ты что, спятил?» – «Айда, успеешь еще наспаться, ночь знаешь какая? Красота!» – «Иди ты...» – «Да пойдем, Алексеич, разик искупнемся и конец, все равно не спишь». Вижу – не отстанет, и спать не даст.

Вышли на берег. Пеца миролюбив и дружелюбен ко всему: оглядывается, хмыкает, вздыхает. Ночь на самом деле –

оглушительно хороша. Луны нет, но от снега какая-то мягкая ясность, удивительная тишина, воздух нежный, тающий, океан абсолютно тих, только у берега бурчит еле слышно.

Пеца закричал, задышал – весь беленький, босиком по скользкому береговому льду шлепает к краю и голеньким ангелочком спрыгивает на полоску черного песка, открывшуюся по отливу.

Эх, думаю, а не искупаться ли и мне?

Разделся. Чудеса! Не жарко, разумеется, но и не холодно – прохладно, и все. Чистая, полезная прохлада.

Стою, белею у края воды. Пеца уже там – ахает, фырчит, взывает, бьет по воде белыми в сумраке руками и наконец вылетает, обтекая каплями в снег – и к полотенцу.

Как вошел я в Тихий океан... Вода не холодна – вода люто студена, так студена, что сразу и не разберешь. Аж сверху на ней такая тонкая льдистая пленка.

Проделавши все то же, что и Пеца, только гораздо быстрее, выскакиваю и начинаю рядом с Пецей прямо-таки перепиливать, уничтожать себя жестким вафельным полотенцем. Чудесно!

Подрожали, отдышались, Пеца говорит: «Ну ладно. Пойду к Надюхе. Я ее звал, звал, она говорит: ненормальный. Чудачка. Ну пока, Ксеич, иди спи».

И вот представьте себе: небольшой светлый зал, несколько рядов стульев. Публики жидковато, какие-то домохозяйки. Перед стульями лавка, на ней Пеца. В президиуме трое, двоих я знаю: один из конторы, другой бригадир. Между ними – мужчина официальный, в черном костюме, при галстуке. Судья из района. В зале идет суд, Пецу судят. Неделю назад, ночью, в бараке пьяный Петр, отыскивая впотьмах Надькину дверь, наткнулся на какого-то паренька, который ему не понравился. Петр его повалил, избил – сначала руками, потом сапогами, причем старался по лицу, и по обыкновению безобразно орал. Надьки дома не было, зато проснулись соседи – и на следующий день всем баракком подали на Петра в суд.

Когда стали ему искать общественного защитника – кроме меня, желающих не нашлось.

Пеца был потрясен, всю неделю до суда бегал, метался, выдумывал планы один фантастичней другого – только бы не засадили.

Сейчас он сидел на скамье подсудимых, красный от позора и горя, не возражал и со всем соглашался.

Тут же был и избитый им паренек, который ничего не помнил, потому что сам тогда был пьян. Он был настолько смущен и растерян, что, когда его попросили сесть поближе, он засуетился и присел рядом с Петром. Судья сказал: «Успеете

еще, молодой человек». Он покраснел и отсел.

Тут же была и Надежда. Лицо у нее было холодное и презрительное. Когда судья спросил ее об отношениях с подсудимым, она спокойно ответила, хорошо: «Мы с ним дружим».

Был там и Саня-моторист, с которым Пеца тогда выпивал. Он отвечал на вопросы торопливо и бестолково, часто повторяя: «Так что ничего такого не было».

Адвокат из района, прожженный краснорожий пьяница, как бы посмеиваясь, говорил о том, что по такой-то статье Кузина судить нельзя, а если применить другую, такую-то, то по ней следует всего только штраф. У него были невыспавшиеся глазки, и за версту несло одеколоном.

Я старался не волноваться, да где там. С самого начала у меня на языке висела окаянная фраза: «Поглядите на него!» с готовой интонацией сострадания и с жестом в сторону подсудимого. Я всячески ее избегал, но, когда дали слово, не выдержал.

– Поглядите на него, – сказал я, – ему всего двадцать, его очень рано предоставили самому себе и стали требовать от него умения жить. Кто ему помогал? Кто о нем заботился? Его только наказывали и ругали. Кузин дебошир, Кузин хулиган – вот все, что о нем знают. Но кому известно, что Кузин еще и страстный книголюб – поглядите на его формуляр в библиотеке. Что Кузин выписывает «Технику молодежи» и увлекается вопросами звездоплавания. Что Кузин, ес-

ли товарищу надо помочь – дров ли нарубить, уголь перетаскать – первый приходит и помогает. Кому известен другой, хороший Кузин? Никому. А он есть. И если мы не хотим его уничтожить – что угодно, только не срок.

Ну и так далее.

Когда Пеце дали последнее слово, он встал и сказал:

– Что я могу сказать? Все это будет мне хорошим уроком.

То, что случилось, больше не повторится. Пить – слово даю, брошу. Если можно, прошу не давать мне срока.

Суд приговорил его к году условно.

После суда Пеца подошел ко мне и крепко сжал руку. Я хотел было позвать его к себе выпить на радостях, но удержался.

* * *

Дней через десять, утром, врывается Пеца:

– Можно тебя на пять минут?

– В чем дело?

– Сперва скажи: можно или нет? – и смотрит почти угрожающе.

– Ну, можно.

– Идем.

У него дома грязь, развал, табачный дым, на полу мешок и чемодан здоровый. Он садится на кровать, закуривает:

– Я уезжаю.

– Что такое?

– Я должен перед тобой извиниться: я скот перед тобой и Надюхой. Ты ей это скажешь.

– Да в чем дело?

Он словно и не слушает:

– Замазать хочешь? – и наливает полстакана спирта.

– Нет, не хочу.

– Ну, черт с тобой, – и выпивает.

– Кончай психовать, говори, что натворил.

– Вчера в том бараке я опять окно выбил. По пьянке. Они кричат, что я угрожал зарезать кого-то там, брешут, суки, они мне все там даром не нужны, мараться об них... Но все равно: был год условно – теперь будет безусловно. Только вот им, а не год!

– Да-а-а...

– Пароход сейчас отходит, в Питер – проводишь? В Питере у меня кореш один есть... как-нибудь... А, все чепуха, только бы уехать отсюда, хоть к чертовой бабушке, только бы уехать! Проклятый комбинат, проклятый спирт, все проклятое! В задницу! Идем.

На пирсе, прощаясь, сказал опять:

– Значит, Надюхе передашь? Я ей напишу. Ну все, пока.

Ночная погоня

Что нет людей одинаковых – истина довольно пошлая, но весьма удобная для бойкого пера. Нынешние комсомольские борзописцы ужасно любят ее доказывать. «Это был, – коварно начинают они, после того как “впервые я увидел его...”, – это был обыкновенный молодой человек...» В конце концов оказывается, что он грудью заслонил скотный двор и что герои среди нас, и опять несчастную старуху Изергиль вытаскивают на свет божий докладывать, что в жизни всегда есть место подвигу.

И однако даже тот, кто полностью усвоил, что каждый человек по-своему неординарен, узнав нашего Толика, воскликнул бы: «Вот необыкновенный человек!» – и мир для него разделился бы на Толика и «остальных», ибо Толик наш Федоров был действительно человек редкостный.

Если вы, например, впервые прибыли в Аначики и, плача, стоите на пирсе посреди мешков и узлов, не зная, куда идти, и помирая от усталости, – ваше счастье, если на вас наткнется Толик. Мгновение – и весь ваш скарб вместе с вашей жалкой личностью святым духом перенесется к нему, к Толику. А он уже, глядишь, занят печкой, чаем, всяческой жратвой. Бах – и вы сыты. Трах – и вы уже в постели, где, бормоча, как заклинание, «спасибо», «извиняюсь», засыпаете мертвецки – а Толик уже сидит за столом и печатает фотокарточки для

стенгазеты.

Если же вы, наоборот, уезжаете, а вас провожает Толик, то можете равнодушно пнуть свои мешки с узлами ногой и идти выпивать с друзьями – узлы ваши тут же уплывут на Толике в узкие коридоры вокзалов сквозь непроходимую толпу и доплывут в сохранности до вагона, а сам Толик в очереди целующихся с вами будет последним – чтобы не мешать. А когда подойдет его очередь, он поцелует и шепнет: «Пойди к мамке, видишь – чуть не плачет».

Спортивный, легкий, улыбающийся ангел, святая душа – наш Толик. Ел только в столовой и то не всегда – дома же за стол его не усадишь: «Да я уже, ей-богу, такой борщ сегодня, знаешь!» – «Да столовая-то сегодня закрыта». – «И потом у нас в буфете пирожков ка-ак купил! С повидлом, горяченькие – эх!» И вдруг залотошится-залотошится – и нет его, исчез.

Когдаходишь к нему в его каморку, он вскакивает и начинает быстро-быстро бегать вокруг – махнет веничком, сто раз подвинет стул, сгребет ногой под кровать какой-то мусор, носки, туфли. «Да брось ты, Толик! Я же тебе не премьер-министр». – «Сейчас, сейчас, – наконец сел, улыбнулся. – Вот, елки, вчера подметал – откуда набирается?»

Меня даже иной раз бесило это ангельское абсолютное забвение себя... «Толик, айда в кино». – «Не могу, стенгазету надо». – «Толик, айда выпьем». – «Не могу, киномеханик просил помочь». – «Толик, айда...» – «Не могу, я должен...»

Никто не должен, он должен.

Очень! Очень приятно делать людям добро, да не всегда хочется. Но нам постоянно хотелось Толика облагодетельствовать. Не умеющие так, как он, – мы любили его отечески. Являешься к нему в компании друзей, вооруженных топорами, Толик выпархивает на крылечко: «Ой, братцы, да вы что?» – «А ништо. Это твои дровишки?» – «Да не надо! Да я сам! Да вы бы лучше...» – «Ладно, ладно, – говорит Саня, – закрой свой хлебоприемник». – «Лучше сбегай вон за пузырьком», – добавляет Пеца и протягивает трешку. И такое у Толика на лице изумление, что, оказывается, не только он о человечестве, но и человечество о нем может озаботиться, что даже обидно.

Была одна история, которую Толик терпеть не может вспоминать. Вечером в субботу я сижу, читаю; вдруг – топот, вваливаются Саня и Пеца, у обоих на лицах торжественный гнев: «Айда к клубу, там Толика избили».

Дивная ночь стояла, камчатская полнокровная ночь: луна, скрипящий снег, нежнейший воздух, одуряющая чистота и тишина. Все под ясной луной одинаково красиво, даже грязь. А море – черт возьми, море... это какой-то гипноз красоты и задумчивости, а не море – и все вокруг заморожено какой-то одной неслышанной нотой, которую тянет луна, а нам не слышно. Лучшие побуждения, высокие помыслы и чистую любовь порождает такая ночь в человеке.

Мы же мчались по улице, исполненные самого благород-

ного желания набить морду.

Навстречу медленно движутся человек десять, в основном дамы: Толика провожают до больницы. Он рукой прижимает правый глаз, из-под пальцев капает.

– Кто?

– Шинкаренко Лешка.

– За что?

– Да он бухой пришел на танцы, зашумел, ну, Толик его и пошел выводить, а он шел-шел, вдруг как врежет ему, неожиданно – и ходу.

– Глаз цел?

– В норме. Бровь разбита.

– Толик, как?

– Да ничего, ничего, все в порядке.

– Где он?

– В бараки побежал. Там ребята уже пошли.

– Айда!

О-о-ой, как трудно в такую ясную ночь скрыться, исчезнуть в Аначиках, где все задворки на виду и известны каждому! Трезвея от страха, бежал-ковылял Лешка. То вдруг остановится: «Подумаешь, говна. Ну дал разок, я ему, он мне, велика важность, первый раз, что ли? Да вот возьму и вернусь опять на танцы, и если какая сука пристанет...» Но тут же припускал Лешка дальше, чувствуя, что все не так, что тут какой-то особый случай, ведь этот кореш вроде здоровый парень, и не испугался, не заорал, но и не ударил, а только ах-

нул и схватился за глаз, а все кругом как-то странно растерялись – другой раз наоборот, сбегутся, подначивают, а тут...

– Сто-ой, падла! – это сзади кричат. – Стой, хуже будет, подлюка!

Давай, давай, чеши, Лешка, не то упадешь – не встанешь. Шапка! Где шапка? Хрен с ней, с шапкой... Матросский ремень свистнул по затылку: «Сука позорная! Толика бить? Нна!»

Мы обегали бараки – никого. Назад. Встречаем галдящую толпу.

«Где он?» – «Отпустили. Сказал: больше не буду». – «Красивый пошел, морда, замучается умываться». – «Ни хера, денька через три поправится, бич долбаный!»

К Толику. Он уже дома. Глаз перевязан толсто и плотно. «Ну как?» – «Да все в порядке, синяк только будет. А я уж испугался, черт те дери, неужели ослепну?» – «Как же это?» – «Да больно уж неожиданно он обернулся, не успел за руку схватить. И он сразу убежал. Хоть убежал ли?»

В сенях нерешительно заскрипела дверь, что-то потопталось и стихло. Насторожившись, выглянули.

Надо же было судьбе сыграть такую шутку! В сенях, покачиваясь, перепутавшись в крови, соплях, слезах, стоял виновник торжества собственной персоной, Шинкаренок Лешка. Поспешное отчаянное бегство занесло его в самое пекло – не знал он, не видел, куда попал спьяну и со страху, припелся, пожалуйста. Красив он был, ничего не скажешь.

Священный гнев наш несколько поугас. Пеца двинулся к Лешке: «А ну...» – «Стойте!» – крикнул Толик. На лице его, перечеркнутом толстой мертвой повязкой, тоже горели жалость и отвращение, но по-другому, чем у нас: жалел-то он Лешку, как и мы, просто страдал от ужаса, от непоправимости несчастья чужого. А вот отвращение – невольное, сдерживаемое и оттого еще более очевидное – отвращение адресовано было нам, благородным мстителям. Он просто не мог на нас глядеть!

– Пошли, – мрачно буркнул Пеца.

– Отведем его, – успокаивающе сказал Саня.

– Только вы, ребята...

– Ложись, выздоравливай, все будет в ажуре, – торопливо крикнул я и захлопнул дверь. Лешку вывели мы под белые руки на середину улицы, развернули в сторону его барачков и, легонько подтолкнув, сами отправились восвояси.

Вот и не любит Толик вспоминать эту историю – как и другую, с ней же связанную. Это когда приехала корреспондентка.

Итак, она звалась Марина. Очень красивая, с густыми каштановыми волосами. В том смысле красивая, что глаза, улыбка, походка, движения рук – все в ней складывалось удачно.

Пока я хлопотал да бегал около нее, она все оправдывалась своим медленным мягким голосом, почему она зашла ко мне, да кто ей рекомендовал, да если сейчас неудобно,

то в другое время, и все улыбаясь виновато: такая, мол, каторжная наша обязанность – тревожить занятых людей. И даже когда я ее усадил и бесшумно кипящий чайник свой перед ней водрузил, она все равно, как-то так, без улыбки, по-дружески: «Нет, в самом деле, если вы заняты, я не стану мешать, у меня времени масса...» – на что я, пижон, снисходительно заметил: «Был бы я занят, так прямо бы и сказал». Для начала она сообщила, что так и не научилась брать интервью, как положено: задавать бесцеремонные вопросы и получать церемонные ответы – ей нравится, когда беседа получается сама собой, непринужденно и доверительно. А я слушал и представлял себе ее одинокое путешествие по зимней Камчатке, еще хорошо, если все время самолетом – а на нартах? а подвыпившие бичи с приставаниями? а одиночество в гостиницах так называемых? Да и вообще – каким духом занесло ее в наш камчатский Питер с университетской скамьи, да сразу и унесло колесить по северам, да еще зимой? Уж не из романтиков ли дальних дорог она происходит?

Да нет, не из них. Была на целине раз, в походах раза три, а так все в Крыму да в Прибалтике, с отцом, на машине.

– И вы распределились сюда? – задаю я глупый вопрос.

– Да. Как видите.

– А куда-нибудь поближе или в Москве остаться?

– Да вы, наверно, и сами заметили: Москва в конце концов надоедает, правда? Мне во всяком случае – смертельно, я

готова была ехать куда угодно, а тут: Камчатка. Интересно же, ведь так?

– И правда интересно?

– Очень. Очень! И дело не в экзотике. В конечном счете, горы, море – это и на Кавказе горы и море, здесь же все это как-то не так. Иначе.

– Лучше?

– Нет, не то. Здесь все легче разглядеть: что хорошо, что плохо... Это все в чистом виде. И встречаются знаете какие люди! Таких нигде нет, только здесь.

Здесь меня и осенило:

– Хотите, Марина, – сказал я, – познакомлю вас с удивительным экземпляром? Вот уж где матерьялу! Пять статей о положительном герое нашего времени, не меньше! Из них две юмористические, две драматические, одна – апофеоз. А? Я не преувеличиваю.

И я ей поведал несколько Толиковых историй. Она слушала их во все свои черные глаза. И мы уговорились на завтра нагрянуть к Толику в гости, хотя я с большим трудом представлял себе, как его на это дело спровоцировать.

И тут внезапно распахнулась дверь, и на пороге воздвигся и моментально остолбенел сам Анатолий. Ни один самый разгениальнейший актер не сумел бы вот так – всеми частями тела, одеждой, ботинками – изобразить смущение и неловкость.

– Привет! – закричал я. – Вот кстати! Проходи, знакомься!

Толик было машинально шагнул, затем замер на месте и забормотал:

– Извините... здравствуйте... нет-нет... я на секунду... у тебя проявитель есть? Да что я!.. У меня же свой, я забыл... под кроватью... И закрепитель там же... я потом, потом... – хлоп! Исчез.

Марина засмеялась:

– Вас ист дас?

– Так это он и есть! Толик-то наш.

На следующий день. Все продумано.

– Привет, Толик (со значением «как тебе не стыдно»).

– Привет. Слушай, вчера так неловко вышло...

– Еще бы! Прибежал, «проявитель-закрепитель» – и убежал. Я его представляю, а он «проявитель»... А ведь ты вчера нужен был вот как!

– Кто? Я?

– Ты!

– Я? А кто эта девушка?

Я объяснил. Корреспондентка. Начинающая. Зимой одна по северам. Собирает материал. О молодых специалистах. Таких, как он. Ей надо помочь. А не бегать за проявителями.

– Словом, сегодня же вечером мы с Мариной у тебя.

Толик посмотрел на меня туманно и вдруг, к моему удивлению, сказал:

– Вообще, ладно. Часов в семь. Нет, в восемь, я как раз только успею.

И вот вечером, без никакого заикания и смущения, широко улыбаясь, Толик открыл нам дверь: «Пожалуйста». Комната – сказать «была вылизана» мало: она была выстирана, высушена и проутюжена, как и белая сорочка на Толике (до брюк, правда, не добрался, так и пузырились коленки). Печь бушевала, в кастрюльках (позаимствованных, разумеется) булькало. Маринина куртка была как-то воздушно совлечена с нее и водружена на плечики (!), новенький (позаимствованный) стул сам собой подъехал к ней, на столе оказались три (позаимствованных) прибора и бутылка вина. От сияющей Толиной сорочки, от его улыбчивой бесшумности исходило такое впечатление чистоты и уюта, что Марина как пришла в веселое изумление, так весь вечер в нем и оставалась, постепенно переходя в счастливое удивление.

И разговор пошел сразу легко, без натуги, ну конечно, за столом оно и нетрудно, особенно за столом камчатским, с балычком, с икоркою. Внешне выходило так, что в центре беседы был я. Этаким мини-тамада. На самом же деле я был вроде перевалочного пункта, так как, говоря со мной, Толик обращался к Марине и смотрел на нее, ну и Марина обратно так же. Мне было весело в этой роли подавателя реплик и приходило на ум: «Возьму вот и заткнусь – что вы будете делать?».

Толик вытащил фотоальбом. Отдельно у него были виды, отдельно люди, и что интересно – нигде почти не было его самого. Сколько раз, бывало, видишь, как показывают: «Вот

я в Москве. Вот я на пароходе. Вот я на фоне Пушкина». А у Толика – и Москва, и пароход, и Пушкин – но все без него, а когда дошло до групповых, тут-то он разговорился, на этот раз прямо с Мариной. Она слушала его так: «Да-да, хорошо-хорошо, этот парень – чудо, тот – еще лучше, но главное-то чудо – это вы, Толик, пожалуйста, продолжайте, вас слушать одно удовольствие», – вот что читалось по ее глазам.

– Вы знаете, я вам завидую, – сказала Марина Толику и мне своим медленным глубоким голосом. – У вас как-то очень здорово, дружно, нескучно.

– Ну, не всегда, – сказал я справедливости ради. – Бывают весьма неприятные события. Вон его однажды чуть глаза не лишили.

– Каким образом?

– Да нет, нет, чепуха это, – сердито заторопился Толик, – он все преувеличивает и вообще – зачем? Не надо... ничего страшного не было, никакого значения не имеет. У нас, Марина, правда хорошо, вы его не слушайте. Вот бы вам сюда – вы бы увидели.

– Господи, да я с удовольствием бы, – ласково сказала Марина. – Только что я здесь делать буду?

– Да... – приуныл Толик. – А жаль. Вот бы хорошо было.

– Мне недавно в одном поселке, – перевела Марина разговор, – пришлось брать любопытное интервью. Вечером пошла я в кино, шло что-то серое, выхожу – уже темным-темно, а у меня ни фонарика, ничего, а гостиница – на окраине.

Снег, правда, белеет, идти видно, но страшновато: темень, глушь, снег под сапогами – громко-громко – скрип-скрип, на весь мир...

Можно было, не слушая Марину, увидеть весь рассказ ее на толиковой физиономии, как на экране: и ее страх, и оглушительный скрип подошв по снегу...

– И вдруг: вот так, близко-близко, из-за угла выходят трое, черные такие фигуры, мужские, прямо навстречу. Подходят и фонариком – ярко-ярко, в лицо – ну, думаю, пропала областная корреспондентка на заре туманной юности. Один говорит: «Она?» Другой: «Она». – «А ну, идем с нами». Что делать? Кругом ни души. Иду. Молча ведут меня куда-то. Лиц не вижу – ясно только: взрослые и вроде не пьяные. Заводят за какой-то забор. «Ты из газеты?» – «Да». – «Бумага есть?» – «Какая бумага?» – «Ну, блокнот там, тетрадка, ручка?» – «Есть, кажется», – а сама трясусь как осиновый лист. «Доставай», – и фонариком светят. Достаяю. Думаю: интересные попались грабители. Один говорит: «Давай пиши, я посвечу». И началось. Начальник такой-то – самодур, придирается не по делу; бухгалтер такой-то – вор, пьяница; бригадир такой-то – словом, целое письмо протеста! Стою, пишу послушно, а они разволновались, слышу – пошли непечатности. Расхрабрилась, спрашиваю: «Эти слова тоже записывать?» – «Извини, – говорят, – в горячке, больше не будем, а ты пиши». Я все записала. «А подписи?» – «Пиши – группа рабочих комбината». И все. Проводили меня до гостиницы,

я только там отошла, до того испугалась. Интересно, правда?

Толик перевел дух.

– Д-да-а... Здорово! Ну и вы проверили на другой день, все, что они наговорили – правда, нет?

– Увы, увы. На другой день я улетала чем свет, никак не успевала.

– А письмо?

– Да так пришлось и оставить, на память о встрече.

Мы вышли проводить Марину до гостиницы – длинный барак с нумерованными комнатами. Ночь была камчатская, отборная, не хуже той, кровавой. Звезды крупные, влажные. Толик восторженно воскликнул: «Вон – Вега. А вон – видите? Орион. Не могу, до чего люблю это созвездие. Оно здесь такое особенное. Как все равно брошь, неправильная, с драгоценными камнями». Хорош был Толик, и Марина была хороша, и взглядывала на него с тем же неослабевающим удивлением. У двери она подняла лицо к нему, сказала негромко и просительно: «Я завтра улетаю, Толя, вы могли бы проводить меня?» – «Да... да... Конечно!»

Утром я встретил Марину на улице, попрощался. «Да, – сказала она, – вы вчера упомянули случай, что-то насчет Толиного глаза...» – «Да ничего особенного», – сказал я и вкратце изложил историю.

Вечером Толик лежал у меня на койке и, подперев лицо ладонями, говорил – не мне, а тумбочке – негромко и доверительно:

– Знаешь... я же с девушками... ну ты знаешь. Танцевать не умею, говорить тоже. Я все удивлялся: как это у других, елки, так легко-легко... даже немножко завидовал. Но – немножко. Потому что – веришь ли? – я все время чувствовал: у меня это должно быть как-то особенно и сразу. Как? Кто? Бог знает. Но обязательно сразу. Однажды одна девушка – хорошая-хорошая девушка была – и она мне говорит... ну, что она меня любит... Ой как я испугался! Да нет, говорю, нет, это невозможно... Господи, вот дурак! Зачем я ей это говорил? Она плакала... Я тогда очень мучился, правда, но что я мог поделаться?.. А вчера, даже позавчера, когда я влетел к тебе... к вам... Так и стукнуло меня: вот!.. Я потому так сразу и согласился, чтобы пришли... Марина... Мари-на... Хорошо! (Засмеялся.) А? Хорошо! Я сегодня бегаю с чемоданами, ну ты знаешь, суечусь, а она останавливает и говорит: Толя. Чтобы, говорит, уезжающий вернулся, надо, когда прощаешься, посмотреть ему в глаза. И смотрит мне в глаза, и руку не отнимает. Чудно! Неужели, вот если предчувствие сильное, должно же оно сбыться!

Прошел месяц, что ли. Почта прилетела два раза всего. С первой не было Толику ничего, а со второй – со второй было.

– Толик, – сказал я. – Зайди вечерком, дело есть.

– Ладно, – кивнул он уныло: он ждал письма.

– Толь, – сказал я ему вечером, когда он разделся и сел. – В общем, как бы тебе это... Ну да все равно узнаешь. В общем, на. На второй странице. Называется «Хорошие люди» – и я

протянул ему газету.

Начало было такое:

«Как рассказать о них, об этих людях? Может быть, начать с моря? Вот оно нелюдимое, суровое, и такое, казалось бы, неприступное...» – ну и далее в том же духе, камчатские красоты... «И все-таки здесь живут. Люди. Простые, мужественные и очень хорошие», – ну и далее, о дружбе, мужестве и коллективизме... И наконец: «Общий любимец аначикинских комсомольцев – Толя Федоров. “Наш Толик” – так любовно его называют в поселке. Он скромненький, этот невысокий и крепкий юноша, он не любит говорить о себе, но всегда, когда трудно, он – первый (Бог мой! Неужели?). Как-то на клубном вечере пьяный хулиган избил Толю. “Толика бьют!” – разнеслось по поселку с быстротой молнии. И пусть иной чрезмерный моралист осудит аначикинских ребят – они поступили с негодьяем по-своему, по-флотски. (Да... Как это? Жаль, что вас не было с нами...) И вот уже лыжи трудолюбивого Ан-2 отрываются от снега, под крылом, уменьшаясь, мелькают крыши. До свиданья, Аначики! Мы еще увидимся, обязательно увидимся!» (Это для Толика, ясное дело.)

Пока он читал, я не смотрел на него – не мог. Так, возился с печкой. Один раз он тихо воскликнул: «Что?» и раза два поелозил, но так, что я спиной ощутил, как он мучается. И уж к самому концу этак коротко и жутко простонал: «Ммммм...»

Прочел. Помолчал. «Ну, в общем... я пошел, да?» И пошел.

Месяца через два я прилетел в город, в командировку, захватив письмо Толика к Марине. Забежал в редакцию. «Здравствуйте, Марина», – и, видно, не удержал не то досады, не то усмешки. Она ответила осторожно: «Здравствуйте».

Я подал ей письмо. Прочла. Помолчала. Усмехнулась жалобно.

– Ругается... Не понравилось. Ну что ж... Знаете, я так много рассказывала в редакции... про вас про всех... Они пристали: напиши да напиши...

– Что-нибудь передать?

– Да нет... Не прощения же просить... Уж как умею.

День рождения

– Ко-олька, холера! Куды пошел, зараза? – разносится на весь поселок мощный голос тети Насти.

– Чего тебе? Ну чего тебе? Ща приду! – отмахивается сын ее, горластый и непоседливый Колька, десятиклассник. Вон он, в пиджаке и валенках, жмет по снежной атласной улице, жмет, наверное, к Галке, однокласснице, к которой равнодушен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.